

Борис Дышленко

ЧТО ГОВОРИТ ПРОФЕССОР

повесть

Мал огонь, а сколько опалить может. Язык — огонь, прикраса неправды, таково место языка в теле нашем, что все тело может он осквернить и опалить круг жизненный; и сам опаляем адом. Ибо все живое: звери и птицы, гады и рыбы — укрощено людьми и повинуются им, язык же никто не может подчинить — необуздано это зло и полныяда смертельного.

Иван Грозный

Я наблюдал его в одни и те же часы зимой и летом, весной и осенью на протяжении нескольких лет, а когда я не наблюдал его, я его слышал. У него был приятный голос, мягкий низкий баритон, с большим диапазоном всевозможных оттенков и модуляций, менявшийся в зависимости от того, что и от чьего имени он говорил. Он много говорил. Иногда его ни к кому не обращенная речь (а может быть, ко всем обращенная?) прерывалась глуховатым покашливанием, к которому он, видимо, привык и не замечал его, но по утрам его прямо-таки раздирал чуть не до рвоты выворачивающий кашель, кашель упрямого несдающегося курильщика, — я слышу его до сих пор.

Он был похож на отставного английского полковника, какими их изображают в кино, а скорее, он был похож на сэра Антони Идена в последние годы его жизни. Он был высок, статен, прям, снисходительно благожелателен, и — странное дело! — эта черта была в нем и тогда, когда он был один, — она была так же неотделима от него, как его походка или цвет глаз, но и его голос присутствовал с ним, даже когда он молчал. И хоть я говорил, что наблюдал его в любое время года, теперь он мне почему-то видится в его темно-сером, почти черном, строгого покроя пальто, в темной шляпе "борсалино", всегда с длинным черным зонтиком в руках. Я мог бы рассказать, как он был одет летом или поздней весной, но так я не вижу его, он становится для меня посторонним, одним из многих, встречаемых случайно. Ведь в наших краях редко и недолго бывает хорошая погода, и поэтому образ часто встречаемых людей, если только это не твои домохозяева или сотрудники, связывается обычно с уличной одеждой.

Да, он, пожалуй, был похож на Антони Идена, и полагаю, он добросовестно относился к своей внешности и привычкам, и часто недоброжелатели упрекают таких людей в филистерстве, забывая, что в наше дорогостоящее время именно нарочитая простота, именно костюм и дурные манеры являются характерной чертой буржуа. Что до его привычек, то мы, наверное, знали их не хуже его самого, и если бы сам он вдруг почему-либо забыл что-нибудь сделать, то могли бы ему подсказать. Но он никогда ничего не забывал, так что первые месяцы нас это даже раздражало. Он даже никогда не болел, точнее, не заболевал, и всегда выходил в одно и то же время, чтобы каждый раз шаг в шаг и минута в минуту совершить соответствующий дню недели маршрут. Выйдя из своего подъезда, он проходил по проспекту, мимо овощного магазина (туда он заходил

на обратном пути), до ближайшей булочной на углу (но в нее он тоже не заходил), а, сверившись со светофором, переходил улицу и шествовал дальше в гастроном. Отсюда начинался его путь назад, к дому, но прежде он покупал в гастрономе сыр, сто грамм масла, сто грамм колбасы или бекона, или еще чего-нибудь (что было), и на обратном пути, постепенно загружая портфель, он заходил в мясную лавку за куском говядины (ему здесь всегда оставляли хорошие вырезки), в булочную, где он брал один длинный батон или две французские булочки (по вечерам на бульваре он скормливал остатки голубям), оттуда в овощной магазин, там в особую матерчатую сумочку он набирал овощей или зелени, если в сезон; в бакалею он ходил раз в неделю так же, как и в парикмахерскую. Однажды мы смея ради поменяли булочную и парикмахерскую местами. Мы ожидали какого-нибудь замешательства с его стороны и заранее пересмеивались и перемигивались, увидев его приближающимся по проспекту, но он, дойдя до угла, только пожал плечами и вошел туда как ни в чем не бывало. Когда он через двадцать минут вышел оттуда, то на мгновение еще приостановился на каменном порожке, чтобы снисходительно улыбнуться невидимым шутникам (то есть нам), и уже потом мы сообразили, что устроили нашу шутку во вторник, то есть именно в тот день, когда он ходил подправлять свою английскую прическу. Тогда, сидя в парикмахерском кресле, он, вероятно, заодно разузнал у парикмахера, куда перенесли булочную, а может быть еще, и почему это вдруг, а выйдя без лишних поисков отправился прямо туда. После этой в общем-то хорошо задуманной, но неудавшейся шутки, мы сделали вывод, что профессор несмотря на стойкость привычек совсем не педант.

Винный магазин находился напротив его дома, через дорогу, и туда он, как и в парикмахерскую, ходил раз в неделю. По количеству спиртного, которым он запасался по средам, мы определили, что пил он немного, но постоянно и что его любимые напитки — ром, коньяк и портвейн, но режим и очередность употребления этих напитков были нам неизвестны, потому что по звуку наливаемой в стакан или бокал (тоже вопрос!) жидкости не угадаешь, что именно наливают. Мы хотели в малейших нюансах изучить его быт и деятельность. Хотели знать точно, что и как он делает в такое-то время, и что через час. Мы были очень любопытны. Однако, для того, чтобы видеть все, что нас интересовало, еще не установлено прослушивание, пришлось спилить раскидистое дерево во дворе его дома — оно, как мы думали, ^{хлопоты} заслоняло окна его квартиры. С деревом были не единственные, так как до этого еще пришлось улаживать отношения с

хильцами из внутреннего крыла профессорского дома, которые, как оказалось, использовали для сушки белья чердак, на котором мы устроили наш наблюдательный пункт. Поначалу мы ничего об этом не знали, и какая-то женщина, пришедшая туда с охапкой детских пеленок, обратилась к нам с жалобой на протечку у нее в потолке — очевидно, она приняла нас за какую-то комиссию, — но потом мы сменили там замок, чтобы нам никто не мешал, и только когда опилили это дерево, выяснилось, что всё зря. Оказалось, что мы напутали, разбираясь в планировках, и что то, что мы принимали за квартиру профессора, было на самом деле чьей-то другой квартирой, а профессорские окна располагались по другой стене, и хотя их можно было увидеть из нашего слухового окна, но наискосок, а это нам ничего не давало. Так что нам ничего не оставалось, как только разыскать ту женщину, которая жаловалась нам на протечку, и вручить ей новые ключи, но она, естественно, не выразила нам никакой благодарности, потому что так и осталась со своей протечкой.

В общем, нам пока пришлось удовлетворяться подглядыванием за ним на улицах и н-а бульваре, да медкими шуточками в стиле той, которую я уже описал, и они, может быть, и даже наверняка, обили бы с толку кого-нибудь другого, но от него они отскакивали, как горох, а он их даже не замечал, вернее, не обращал на них внимания, — все так же невозмутимо шествовал дальше и только иногда, время от времени, улыбался едва заметно в свои английские усы. Я не понимаю: откуда что бралось? Ну хорошо, — породистую физиономию можно иногда увидеть и у бармена (если, конечно, сам он при этом не трезвенник), но откуда у профессора взялись эти манеры, этот неподдельный аристократизм? У ~~иротского~~ сироты, ^{некоторого ремесленника,} с детства бодтавшегося по всевозможным интернатам... у него были седые, просто серебряные, слегка выющиеся волосы, не короткие и не длинные, темные внимательные глаза, глаза человека, готового к любому вашему вопросу, да так, чтобы не ответить, а объяснить вам вашу ошибку; и седые усы английского фасона, но об этом я уже говорил, так же, как и о его невозмутимой снисходительной благожелательности ко всем и ко всему. С этой манерой он смотрел и на влюбленных в него студентов, еще когда он преподавал, но я наверняка знаю, что любовь их была несчастна, сколько они не старались. Иные пытались завоевать приоритет бескорыстно, насколько может быть бескорытна любовь к руководителю курса; другие были из нашей компании, но и эти относились к нему с таким энтузиазмом, что

А вообще, в той лекции речь шла о психологии подростков, и я, как мне тогда казалось, понимал в этом деле, поскольку незадолго до этого сам был подростком, и если бы профессор говорил на нормальном человеческом языке, я бы, наверное, его понял и не злился на него, но он употреблял очень много специальных терминов. Я записал одно слово, так, на всякий случай, потому что это слово показало мне подозрительным, но потом я долго не мог найти его в разных словарях, пока не нашел в одной юридической книжке вместе с объясняющей его сноской. Это было слово "деликвент", и когда я наконец узнал, что это такое, я увидел, что при желании меня и самого можно подвести под эту категорию, если не знать моих подлинных намерений, а я их, конечно, никому не буду объяснять. Уже узнав значение этого слова, я заподозрил профессора в том, что он именно надо мной издевался в своей лекции, но теперь нельзя было это проверить, да и профессор меня тогда не знал, как, впрочем, и потом. С другой стороны, мне-то известно, ждя что я не деликвент, а просто веселый человек, так что, и узнав это слова, я подумал и решил, что не стоит обижаться на профессора, а может быть, у него еще есть чему поучиться.

Но всё это пока было так, между прочим, мы пока только присматривались к профессору, потому что было совершенно неизвестно, выйдет ли вообще из этого какой-нибудь толк; и мы только присматривались к профессору, просто на всякий случай: вдруг, да что-нибудь выйдет. Тогда же вся наша компания вволю посмеялась над его книгой, вернее, над тем, что там происходило, но в этом, мы, конечно, не были исключением — в это время смеялся весь мир. Один профессор был серьезен — он готовил свою следующую книгу, только эта книга оказалась далеко не так смешна. Но выяснилось это только через пять лет, после того, как эта книга была напечатана, а профессор ушел, вроде бы, на покой. То есть в этой книге тоже были забавные места, потому что профессора даже и в самые мрачные минуты не оставлял его юмор, и потом, даже если уж не смешную, то во всяком случае комическую сторону можно открыть в любом явлении, — но в целом эта книга, скорее, была грустной. Тогда же, то есть после его первой книги, вокруг его имени поднялся невообразимый шум, и одна за другой то тут, то там стали выходить его научные книжки, писавшиеся, вероятно, в течение всей его жизни ученой карьеры, потому что их оказалось довольно много, и то тут, то там его стали избирать какими-то почетными членами и докторами — до этого никто и не знал, что он такой известный ученый, — так про-

должалось все пять лет, пока не вышел в свет этот его новый роман, но здесь он все-таки хватил через край, и заводила нахмурился. Да, эта книга, несмотря на присутствовавшие там смешные (скорей, иронические) места, кое-на-кого произвела неприятное впечатление. Должен сказать, что у профессора, несмотря на его громкую известность, все эти пять лет было мало причин веселиться. Хотя первая его книга и вышла в свет спустя считанные месяцы после смерти его жены, но, по-видимому, написана была до. А вот между первой, помимо уже упомянутого несчастья, у профессора было много неприятностей: коллеги и начальство отчасти по доброй воле, отчасти из зависти, что то же, а отчасти из соображений высшего порядка, гадили и пакостили ему как могли, и хотя все их гадости были слишком мелки и ничтожны против этой величины, я понимаю, что кому-то может и не доставлять удовольствия работать в такой среде. Короче, они своего добились: едва достигнув шестидесяти лет, профессор, как говорится, ушел на заслуженный отдых.

Однако я не скажу, чтобы это было каким-нибудь просчетом, потому что если у профессора и появилась теперь много свободного времени, то и мы, в конце концов, занемели от скуки, и наша восприимчивость (а мы ведь экстрасенсы) постепенно притуплялась, и последнее время мы очень нуждались в профессиональной игре, которая была бы нам и делом и развлечением одновременно. И мы рассчитывали втянуть профессора в нашу игру, и понимали, что в любом случае втянем, даже если он не будет знать об этой игре. Потому что, скажем, если человек идет по улице и ничего не подозревает, а ты вдруг подставишь ему ножку, и он шлепнулся, — игра это или не игра? Ну хорошо, допустим, это еще не игра, но когда ты заглядываешь к человеку в окно, а он в ответ закрывает штору, вообще, ты пытаешься что-то о нем узнать, а он пытается скрыть — это игра? Так вот, человека всегда можно втянуть в какую-нибудь игру, и мы решили это сделать. Я не хочу сказать, что мы собирались как-нибудь вредить профессору. Наоборот, попробуй ему кто-нибудь пакостить (я не имею в виду служебные интриги), мы бы показали такому "шутнику". Но мы хотели повеселиться и рассчитывали, что профессор нас поймет. Так оно впоследствии и оказалось, только он нас уж слишком хорошо понял, так хорошо, что это нас на первых порах озадачило, но потом мы поняли, что, во-первых, это нам нисколько не мешает, потому что ничего не меняет в расстановке сил, а во-вторых, так даже веселей. Как выяснилось позже, и ошеломляюще выяснилось, профессор с самого начала знал о нашей игре. Мало того, он с самого начала занял правильную позицию, но мы пока об этом еще ничего не знали.

Пока что мы занялись тщательным изучением нашего будущего партнера, так сказать, выяснением всей его подноготной, и начали, как водится, с биографии.

Разумеется, мы не обошли вниманием и квартиру профессора: уж что-то, а жилище человека иногда больше может сказать о нем, чем он сам, тем более, что беседовать с профессором мы пока не собирались. Не то чтобы нас интересовали творческие планы профессора, хотя, естественно, они нас интересовали, а руководясь в его квартире тоже, конечно, оказались, и мы заглянули в них, но оставили на месте, — однако сейчас это было не главное: нужно было на будущее, на всякий случай изучить характер нашего партнера —

чего от него можно ожидать в случае активной игры, а чего можно не опасаться. Конечно, на основании только такой информации нельзя прогнозировать поведение человека, этот осмотр был всего лишь частью работы по воссозданию образа, но в какой-то мере знакомство с его бытом помогало определить стереотип мышления, а в нашем деле это немаловажный фактор.

Раздобыть ключи (собственно, не ключи, а ключ) было делом, не стоящим даже упоминания. Мы вошли в квартиру, когда профессор был на вечерней прогулке. Время было летнее, и не только шторы были не задернуты, но и окна были открыты настежь, так что нам не нужно было включать электричество. Мы ожидали увидеть типичную профессорскую квартиру (то есть, квартиру одинокого профессора), пыльную, захлавленную, заваленную книгами и научными журналами, с остатками обеда в кастрюльке на письменном столе среди рукописей, с горами окурков, под которыми едва можно найти пепельницу, все разбросано, все не на своих местах, — но всё, абсолютно всё, оказалось совсем по-другому. В чистой, устланной потертым ковром прихожей на вешалке не висело никаких старых плащей и шерстяных кофт, а висела на стене картина с изображением морского пейзажа, и еще там был сундук и старинное трюмо, впрочем, не представлявшее какой-нибудь антикварной ценности; книг в первой комнате, точно, было много, но не каких-нибудь сугубо профессорских с золочеными корешками, хотя были и такие, а самых разных и на разных языках, солидные издания и книги в мягких обложках, глянцевых и без глянца, и они занимали целую стенку и еще один шкаф у окна (естественно, профессору нужно много книг), а те, с которыми он работал (наверное, работал), лежали довольно аккуратной стопкой на письменном столе, и одна, лежащая отдельно, была раскрыта на странице бронзовым бюстиком неизвестного мне деятеля. На столе была еще пишущая машинка и всякие мелочи, не в строгом порядке, но и не разбросанные как попало — обычный рабочий стол интеллигентного человека. Рядом с письменным столом стоял другой столик поменьше, и на нем старинный мальхиоровый кофейник на спиртовке, початая бутылка коньяка и курительные принадлежности. Вот этого было много: целый набор ашкетитных, отблескивающих темным деревом трубок, микроутированная шкатулка с отделениями с сигарами нескольких сортов, пачки с разными сигаретами и папиросами, несколько зажигалок, настольных и карманных, — впервые я видел, то есть, в тот момент не видел, а имел дело не просто с завязтым курильщиком, а именно с любителем покурить. У стола (у письменного стола) стояло удобное вольтеровское кресло, рядом корзинка

для бумаг, в ней — ничего интересного; в ящиках стола папки с рукописями — частью научными, частью — профессорской прозой. В некоторые мы заглянули, но сейчас некогда было в них копаться, ведь мы пришли не для того, чтобы что-то найти. Однако заглянули под крышку рояля, стоявшего у одной из стен, а также в другие потаенные места, но это для того, чтобы узнать, в характере ли профессора что-нибудь прятать — профессор ничего не прятал.

Во второй комнате тоже было достаточно книг, и еще целый шкаф пластинок — всё серьезная музыка и, как мы думали, наследство его покойной жены, но это предположение оказалось лишь частично верным, потому что потом нам еще не раз приходилось проклинать профессора за его пристрастие к музыке; был дорогой стереофонический проигрыватель с двумя колонками; был платяной шкаф и диван-кровать. Платяной шкаф мы также обследовали: в бельевом отделении аккуратно сложенное белье, под бельем ничего не спрятано; в другом отделении несколько костюмов профессора — все в отличном порядке. Его пальто и плащ хранились во встроенном шкафу в прихожей (я забыл о нем упомянуть). Рядом с диваном стоял маленький столик, на нем настольная лампа и, опять-таки, курительные принадлежности. Под диваном чисто выметено — там комнатные туфли. Больше, кроме пары картин, в этой комнате не было ничего, но больше, пожалуй, и не надо.

На кухне уютно гудел холодильник, было чисто. Здесь не было ничего интересного. Я на всякий случай заглянул в банки для круп, видимо оставшиеся от его жены, но в них было пусто. Я открыл дверь в туалет, потом — в ванную. В ванной висели два полотенца и купальный халат. На полочке под зеркалом стаканчик с зубными щетками, тубик с пастой, две опасных бритвы в футлярах, помазки. На другой полочке полиэтиленовые флаконы с шампунями, мыльницы, щетки.

На прощанье я выглянул в окно, чтобы узнать на всякий случай, что профессор может увидеть оттуда, и увидел через двор глухую стену противоположного дома, внизу — детскую площадку и недалеко от нее крепкий круглый пенёк спеленного по нашему заказу дерева, которое, как оказалось, никому не мешало.

В общем, квартира была благоустроенной, обжитой и все в ней было в порядке, все в чистоте, хотя и не до культа, каждая вещь знала свое место, и все здесь было со вкусом, крепко, по-мужски — и я даже немного позавидовал профессору в его умении жить и от всего в жизни получать удовольствие, даже ^с таких обыденных вещей, как, скажем, курение или бритье.

Вот так кропотливо, шаг за шагом мы воссоздавали характер профессора и его образ, там, где мы не могли его наблюдать, и в целом этот образ получался вполне органичным, однако для его завершения нам недоставало голоса профессора, да и содержания его разговоров. Во-первых, телефонных разговоров, в том числе междугородных, а особенно, международных, с его дочерью, потому что других, например, с иностранными коллегами, у него, как мы выяснили, не случалось, — но кроме этого и другие разговоры, те, которые могли вестись в его квартире с тем или иным визитером, в частности, опять-таки с его дочерью, когда она приезжает, или с ее шведом (она была замужем за шведом). Для этого, разумеется в тайне от профессора, пришлось установить в его квартире специальную аппаратуру, то есть особо чувствительные микрофоны — мы их установили везде, кроме туалета, так как туда не ходят вдвоем. Итак, мы хорошо подготовились к игре с профессором.

Теперь мы не выпускали его из поля зрения ни на минуту, исключая только то время, когда он спал, а его режим при помощи аппаратуры мы установили за несколько дней. В час ночи оператор выключал магнитофон — не тратить же пленку на профессорский храп? — а в половине седьмого утра уже включал снова, чтобы записать его утренний надсадный, раздирающий душу кашель — потом мы стали просто прокручивать его, уж очень он раздражал. В девять утра кто-то из нас прослушивал записи за предыдущий день — ведь очень спешного никогда не было, а в случае, если бы было, "слухач" должен был немедленно сообщить, — но повторяю, спешного никогда не было, и потому записи всегда прослушивались за предыдущий день. Они же по своему ритму (не по содержанию, конечно), всегда были одинаковы, так что прослушивать можно было выборочно.

Наибольший речевой активности профессор достигал после вечерней прогулки. Придя домой и раздевшись, он наливал себе что-то в стакан и садился в кресло (мы слышали его уютный скрип), затем раздавался его вздох, серия незначительных звуков, которыми всегда сопровождается не только действие, но и безделье: щелчок гипотетической зажигалки, стук не менее гипотетической передвигаемой по столу пепельницы, более или менее громкий вздох и прочее, после чего начинался монолог, временами сопровождаемый отчетливым стрекотом машинки. Собственно, это лишь условно можно было назвать монологом, просто потому, что профессор был один и говорил сам с собой, — на самом деле, это были диалоги и даже коротенькие пьески, разыгрываемые в лицах и кроме того сопровождавшиеся ремарками, занимавшими иногда многие десятки метров пленки, так как эти ремарки включали в себя не только фон, на котором совершалось дей-

ствие, но и само действие, и рассуждения персонажей, и вообще это была проза. И мы были редкими счастливицами, которым повезло наблюдать настоящий, скрытый от всех творческий процесс, причём во всех его стадиях.

Иногда он повторял одну и ту же фразу по многу раз, варьируя и обкатывая ее, и мы слышали, как с каждым повторением она становится все более осязаемой и емкой, все более завершённой в своем внутреннем ритме, пока она не садилась на место так точно, что ее уже ничем было не вытащить; слышали, как реплики в диалогах все прочней и прочней сцепляются каждым своим словом; малейшим смысловым оттенком, или наоборот, отчуждаются до абсолютного несоответствия, что поначалу казалось нам нелепостью, но потом мы научились находить смысл в полном его отсутствии, так же, как бездействие может оказаться хорошо рассчитанным действием, и наоборот, результатом бешеной активности может явиться нуль. Да, мы все лучше понимали профессора и теперь мы, наверное, самые благодарные его читатели, и из его произведений мы знаем даже те, которых никто никогда не прочтет.

Но и помимо прослушивания мы аккуратно, не попадаясь ему на глаза, "пасли" профессора во время его утренних и вечерних выходов, передавая его с рук на руки, меняясь шляпами, кепками и плащами; то следуя за ним по другой стороне, то срезая угол проходным двором, чтобы перехватить его на перпендикулярной улице, - словом, мы вели игру по всем правилам. Вот тогда мы для эксперимента и поменяли булочную с парикмахерской местами, и если шутка не очень удалась, то это только оттого, что профессор был достойным партнером, вернее, оттого, что он сразу занял верную позицию. И мы не ожидали от нашей игры немедленного результата, напротив, ^{ее} целью как раз и было предупреждение возможного результата, тем не менее результат не замедлил.

Пока мы раскачивались, изучали его биографию и вели наружное наблюдение, - а он тем временем жил все так же уединенно, никуда не ходил, и у себя никого не принимал, а телефонные разговоры, если случались, были самые незначительные, и его абонентов мы тоже потом проверяли, - в общем, за это время вышла его новая книга, на этот раз сборник статей. Поскольку никто из нас ничего в этом не понимал - ведь мы экстрасенсы, - нам пришлось обратиться к его коллегам, психологам и социологам, потому что профессор был и то и другое. Естественно, они охали этот сборник, хотя некоторые статьи, которые в него вошли, появлялись и раньше, но мы им не могли доверять, так как видно было, что все они завист-

ники и посредственность, нам же пока нужна была объективная информация, а не их злопыхательство. К тому же они не могли договориться между собой, и в спорах у них часто чуть не доходило до драки, так что нам пришлось их прогнать, то есть, вежливо отказаться от их услуг, и они вконец разозлились, но это было уже их дело. А мы пока сосредоточились на другом: нас интересовало, каким же образом всё это выходит в свет, если профессор практически ни с кем не встречается. Нет, вряд ли нас провел бы так какой-нибудь разведчик, будь он хоть черт знает каким асом, а ведь тому надо было бы попросту сунуть связному, или там бесконтактно передать, какой-нибудь крохотный ролик микроплёнки. Здесь же должна была быть солидная рукопись. Впрочем... И тут мы задумались над такой возможностью.

Для начала мы проверили всех его абонентов, то есть тех, кто еще поддерживал с ним телефонную связь. Ведь любая, самая безобидная фраза могла послужить условным сигналом. Конечно, рукопись не передашь по телефону, но книги могли быть написаны и раньше и где-нибудь по надежным адресам дожидаться своего часа. Нас, правда, смущало, что некоторые детали в последнем его сборнике указывали на то, что это написано сравнительно недавно, но мы пока решили не отвлекаться на ~~эти~~ это обстоятельство.

Итак, мы проверили его, еще оставшихся абонентов, то есть своими путями установили, когда квартира того или другого из них остается без присмотра, и не очень законно (но мы ведь и не юридические лица — так, шутники, экстрасенсы, бескорыстные исследователи) проникли в эти квартиры, и устроили в каждой веселый обыск, не очень заботясь о том, чтобы не оставлять следов. Мы об этом не заботились (вот пример целенаправленного бездействия) в надежде, что вдруг кто-нибудь из них, переполошившись, первым делом позвонит профессору, и это даст нам основания больше его подозревать. Но никто ему не позвонил, так что мы только даром потратили время.

Следующей акцией была замена всех продавцов в магазинах, где он отоваривался, а в ближайший вторник и в парикмахерской, для чего пришлось предложить более выгодное место парикмахеру, который постоянно его обслуживал, а вместо него поставили молодую и очень способную практикантку, правда, не совсем по этому профилю. Это был единственный случай, когда мы достигли цели, то есть удивили профессора. Мы наблюдали, как от магазина к магазину меняется его лицо (вот только оно менялось не так, как нам хотелось, но это детали), а когда он уже дошел до сво-

его дома, то перед тем, как войти, он пожал плечами, но по-жал с таким видом, как будто спрошенный им студент, в ответ сморозил уж слишком очевидную глупость. Что касается парикмахерской, то мы тут, что называется, "работали-веселились". Мы действительно покатывались со смеху, пока где-то в глубине парикмахерской наша практикантка уродовала профессора, но потом, когда он проходил мимо нас по улице, вид у него был такой, как будто он и не стригся у нее, то есть, он был таким, как всегда, а мы были разочарованы.

Тем не менее мы все-таки достигли своей цели — изолировали профессора от всяких контактов и теперь могли наблюдать за ним, как будто он был в стеклянной банке.

К этому моменту и прослушивание дало кое-каки^к результаты, но опять-таки не те, которых мы ожидали, потому что на этот раз профессор позволил себе роскошь посмеяться над нами. Сидя (видимо сидя) в своем кресле, профессор бормотал, как всегда повторяя по несколько раз каждое предложение, он разрабатывал^л свой очередной сюжет. Ед^лруг я почувствовал, что начинаю краснеть так как профессор стал рассказывать эпизод с подменой продавца, а затем и с парикмахерской, и все это с полным пониманием всего дела, его развития и подоплеки. А потом пошли уже такие подробности, о которых профессор вообще не мог знать, просто не мог, о некоторых из них даже мы не знали, исключая разве что заводилу, но он как раз присутствовал при прослушивании этой записи. Мы с недоверием посмотрели друг на друга. Мы были красивые, и только заводила был белый. Он был абсолютно белый. Как мел. И кроме того он стал заикаться.

— Как-к-к! — стал заикаться заводила. — От-т-ткуда? Он не-не-не... он не-не-не может эт-т-того ззззнать.

Заводила был поражен. Да и любой бы тут испугался: старик знал такие вещи, о которых мог знать только заводила. Однако через несколько минут заводила стал поспокойнее: он услышал такие вещи, которые и ему до этого были не известны.

Очевидна была утечка информации, но эта утечка была где-то над нами, на более высоком уровне, та^к где и заводила был уже не заводилой, а просто одним из рядовых исполнителей у другого заводилы, которого мы видели только издали, поэтому наш заводила очень боялся подавать рапорт, так как он мог попасть не в те руки, и кому-то там, наверху, может быть, тому заводиле, могли бы выйти большие неприятности, и наша тепленькая компания тоже могла бы развалиться, или кто-то там мог

бы решить, что мы знаем то, что нам по нашему положению знать не положено, и опять-таки нас бы убрали подальше от этого дела, а мы уже привыкли и профессору и нам было жаль расставаться, — но с другой стороны, не подать рапорт тоже было нельзя, так как запись уже имела входящий номер, и из песни слова не выкинешь, и так далее. Заводила очень обижался на профессора за то, что тот сообщил нам эту совершенно лишнюю информацию, такой ход со стороны профессора показался ему очень неспортивным, он считал что было бы корректней воздержаться, хотя формально профессор не нарушил правил: имел же он право делать вид, что не знает о прослушивании и только поэтому говорит всё, что ему вздумается? На самом деле он, конечно, же, знал о прослушивании и знал, что мы знаем, что он это знает, но все мы, то есть обе стороны, делали вид, что никто ничего не знает, мы как бы без слов договорились об этом, и теперь он воспользовался этим молчаливым соглашением. А то, что он знал о прослушивании, со всей очевидностью явствовало из той самой записи, из-за которой весь разговор, однако профессор изложил суть дела в таких обтекаемых выражениях, что формально его не в чем было упрекнуть. Тем язвительнее все это звучало.

Однако нужно было заняться и последней книгой профессора, тем сборником статей, о котором я говорил. Было ясно, что эта книга не лежала где-нибудь, дожидаясь условного сигнала, чтобы выйти в свет, потому что некоторые статьи в ней были совсем недавнего происхождения, судя по содержащемуся в них фактическому материалу, в частности, по некоторым статистическим таблицам последних лет, которые, — что особенно интересно, — до этого нигде не публиковались. И мы точно выяснили, что к этой статистике профессор вообще доступа не имел. Теперь возникали сразу два вопроса. Первый — откуда профессор взял эти таблицы или на основании какого материала он их составил; второй — каким образом все-таки сборник появился в печати.

— Господи! Ребята, да ведь это же очень просто! — внезапно хлопнул себя ладонью по лбу заводила. — Как же это я раньше не догадался!

Мы посмотрели на него с интересом.

— Все очень просто, — повторил уже спокойнее заводила, — этот сборник не имеет к профессору никакого отношения.

— То есть? — удивился один из нас, а именно я.

— Действительно, — сказал заводила, — они (кто "они", он не уточнял) составили сборник, в который и на самом деле вошли

некоторые статьи профессора, но остальное — чистая липа. Это чьи-то другие статьи. Кто-то решил воспользоваться авторитетным именем профессора, чтобы привлечь внимание к своим, надо сказать, довольно сомнительным ставкам.

Мы вознегодовали. Но еще больше мы были оскорблены за профессора, когда в одном, солидном казалось бы, журнале была перепечатана одна статья из этого сборника. Эта статья называлась "Экспансия вубкультуры". Да, мы были оскорблены за профессора, за то, что кто-то пытается спекулировать его именем в своих грязных политических целях, тем более, что эта статья вызвала шумную полемику в печати. Теперь нам было ясно, что публикация сборника не была каким-нибудь проколом в нашей работе, то есть, что он не просочился мимо нас, а что это была просто очередная, хотя и очень умело сработанная фальшивка, рассчитанная на скандал.

После небольшого совещания, а также консультаций кое-с-какими специалистами, заводила решил сыграть с профессором в открытую, и момент показался нам очень удачным для того хода — в конце концов, речь шла о реабилитации профессора в глазах общественности. Заводила нанес профессору визит и очень корректно, даже исподволь и отчасти шутливо повел разговор о публикации, как о чем-то, еще неизвестном профессору и достаточно курьезном, чтобы просто посмеяться над этим. В ходе беседы он объяснил профессору, что нарушены его авторские права, что кто-то злоупотребляет именем профессора (ведь мы-то точно знали, что профессор никому ничего не передавал) и что в его собственных интересах немедленно и решительнейшим образом опровергнуть авторство. Профессор, несколько не колеблясь, выражает подлейшее согласие с мнением заводилы, но, — говорит, — прежде мне необходимо ознакомиться с переводом. Заводила, крайне довольный, что дело уладилось так просто, передает профессору журнал, а прочитав перевод, тот заявляет, что все правильно, что перевод сделан добросовестно, без искажений, что эта статья входила в его последний сборник (тот самый сборник!) и что он не видит причин отказываться от авторства.

Заводила хватается за голову: что такое, профессор! Этого просто не может быть. Ведь он-то хорошо знает, что этого не может быть. "Ну хорошо, я раскрою все карты. Это, конечно, не удобно. Ну, как-сь-как-сь, действительно нехорошо. Но, понимаете, профессор, вы не могли этого сделать. Физически не могли. Как-сь, мы за вами наблюдали, можно сказать не спускали глаз. Вы не могли передать эту рукопись."

Профессор только пожимает плечами, никак не комментирует, но стоит на своем.

Заводила убит вероломством профессора.

- Значит, вы готовы подписаться под любой фальшивкой, которую от вашего имени напечатают наши политические противники? - с горечью говорит заводила.

- Нет, - возражает профессор, - ни в коем случае. И я был очень удивлен, когда вы заговорили о фальшивках, однако решил проверить. Но, как я и ожидал, все оказалось верно. Это моя статья

- Но тогда объясните мне, как, ни с кем не встречаюсь, вы смогли передать рукопись сборника?

Профессор ничего не объясняет. В общем-то, он и не обязан.

Таким образом прошол в нашей работе сделался очевидным. Разумеется, мы могли и не верить заявлению профессора о том, что он действительно является автором "Экспансии Культуры", но анализ статьи, сделанный специалистами, почти на сто процентов подтверждал аутентичность. Кроме того оставался невыясненным вопрос: откуда профессор узнал подробности нашей работы. Наверху категорически отрицали утечку информации, и это в известной степени нас устраивало по уже описанным выше причинам, но за появление сборника заводила ^{получил} большой втык.

А в той беседе с заводилой, на вопрос, где профессор взял те статистические таблицы, которые были опубликованы в его сборнике, профессор ответил, что он сам составил их на основе многолетних наблюдений, опросов и газетных материалов. В доказательство он предъявил эти таблицы и кое-какие черновики, а также список материалов, которыми он пользовался, и хотя заводила не очень много понял из его объяснений, позже на наш запрос нам ответили, что таблицы такого рода обычно составляются иначе, так что не было оснований подозревать профессора во лжи. Что касается фактической стороны дела, то цифры, приведенные в таблицах, были даже, пожалуй, занижены, - на самом деле в этой области всё обстояло еще хуже. Однако прогнозы профессора в целом были верны, но всё это не относится к делу - уж и то хорошо, что хоть что-то с этими таблицами нам удалось выяснить.

Поскольку наверху по-прежнему категорически отрицали утечку информации и по заверениям заводили тем были самым скрупулезным образом проверены все возможности чьих-либо контактов с профессором как прямых, так и косвенных, поразительная осведомленность профессора временно переходила в разряд неизученных явлений. Но если мы не могли этого явления объяснить, то в любом случае обяза-

ны были с ним бороться. Мы собирались померяться с профессором силами в практической психологии. Операция "Предупреждение" была разработана заводилой тщательно, методично и во всех подробностях, и вот однажды заводила привел в нашу контору какого-то самоуверенного седоватого малого в замшевой куртке и вида одновременно и богемного, и респектабельного, который (этот парень, а не вид) оказался кинорежиссером, автором многих известных кинодетективов. Он долго беседовал со всеми нами трения и еще подолгу с каждым в отдельности о самых разных вещах. Больше всего о своих кинофильмах — как они нам нравятся, — о художественных выставках, о знаменитых рок-группах, о хеккее, о торговле наркотиками, и даже о бабах. И последнее мне не очень понравилось, во-первых, потому, что я человек семейный и других интересов в этой области у меня нет, а во-вторых, я вообще не люблю фамильярностей. Но он говорил, что это ему нужно для выявления наших индивидуальностей, чтобы найти образ для каждого в отдельности и для всей группы в целом, потому что это достаточно сложная задача — поставить такой спектакль, одновременно и краткий, и впечатляющий. Так он изучал нас некоторое время, потом несколько раз отрететировал всю мезансцену, сам же он при этом все время присутствовал в центре, то стоя, то сидя на полу, а один раз даже лег на спину, чтобы посмотреть на нас из такого положения. В следующий раз он привез с собой костюмера и гримера и взялся за создание образа. Больше всего претензий у него было ко мне: ему не нравились мои веснушки — уж очень неубедительно я с ними выглядел, — но он, конечно, нашел способ превратить недостаток в достоинство. Он говорил: "Идти от веснушек". Мне на голову надели огненно-красный парик из жестких, как проволока, волос и приклеили такую бородину, что веснушек, в-общем-то, и видно не стало, но и без веснушек получилось что-то невероятно грубое и хамское, что-то вроде мясника, а то и палача, если соответствующим образом одеть. Он и об этом позаботился: ярко-желтая нейлоновая куртка с надписью ^{био} "T.S. Eliot," грубые тяжелые сапоги с застежками должны были издали привлечь внимание. Ребята животы надорвали от смеха, увидев, что из меня получилось, но и они тоже были ничего. Один выглядел, как отбывший срок уголовник: он был острижен под ноль и еще три дня обрас-тал щетиной, чтобы быть пострашнее, одет он был в грязные хлопчатобумажные штаны, под которыми явно угадывалась еще одна пара, а может быть, и две, замызганный черный ватник, на голове сдвинута на затылок суконная ушанка, заскорузлые, все в засохшей грязи ботинки на ногах. Третий выглядел интеллигентно и отчужденно: неоп-

ределенного цвета пальто, темно-серая шляпа, в руке черный обшарпанный дерматиновый портфель, на болезненно-тонком лице очки в роговой оправе. Какой-то чахоточный гестаповец из школьных учителей. В общем, компания получилась не просто разношерстная, а состоявшая из самых не подходящих друг к другу типажей — и это должно было действовать угнетающе. Нарядившись таким образом, мы направились на операцию.

Это была утренняя экспедиция профессора по магазинам, и в это время он возвращался с портфелем, уже наполненным продуктами, когда мы встретили его на пути из гастронома до овощного магазина. Я начал первым: идя навстречу ему и как будто предполагая разминуться, уже поранившись с ним, я сделал ему уро-маваси (удар ногой, слишком сложный, чтобы его здесь объяснить). Заводила предупредил нас о том, чтобы мы случайно не причинили профессору сильных повреждений, и мы еще перед репетицией как следует изучили его медицинскую карту. Поэтому я не стал бить профессора по почкам, а впечатал ему свой каблук точно между лопаток (и больно, и безвредно), так что, резко охнув, профессор полетел вперед. Выбросив руки (одну с портфелем), он упал на тротуар, и потом впереди упала его шляпа, которую "гестаповец" тут же отфутболил на мостовую — этот момент тоже был заранее продуман и отрепетирован. Когда он попытался встать, "уголовник" дал ему пинка в зад, и он снова упал на вытянутые руки, а из раскрывшегося портфеля еще потекла, мешаясь, белково-желтковая лужица. Он снова поднялся на четвереньки, и "гестаповец" с правдоподобной неумелостью меланхолично пнул его носком ботинка в бок. Больше не нужно было его бить, и мы не стали — ведь задача состояла в том, чтобы только предупредить его, показать, что мы не оставим его в покое. Как-то полулежа-полусидя и опираясь запячканными руками об асфальт (день был не то чтобы дождливый, но какой-то сыкотный, а тут еще и эта яичная лужица под рукой), он поднял голову и смотрел на нас с выражением, которого я не мог объяснить. Одно я понял: даже если бы я был один и не владел карате, всё было бы точно так же — он не стал бы драться со мной. Казалось бы, что особенного в том, чтобы защищаясь дать хулигану (а кем он, учитывая всё тот же негласный договор, должен был меня считать?) да, что, казалось бы, такого в том, чтобы дать хулигану в челюсть? — ведь не убил бы он меня... да, дать по морде хулигану, которому доставляет удовольствие бить и унижать другого человека... (оговорюсь, правда, что это никому из нас не доставляло удовольствия). Но противопоставить хулигану силу, дать ему

понять, что не всё и не всегда сойдет ему безнаказанно — мог он по крайней мере хотеть этого. Нет, я понимаю, он знал, что на самом деле мы никакие не хулиганы, а совсем другое, но по ситуации... И я спрашиваю, должен же он был хотеть набить нам морды? Так вот он ^{не} хотел. Может быть, я преувеличиваю, и он просто не мог, а если бы мог, то все же предпринял бы какие-то меры к защите. К защите — но не к наказанию. Не к тому, чтобы ставить нас на место. Так почему же? Если в свое время он входил в сборную по боксу, то не мог же он быть таким гуманистом, для которого и человеческая челюсть неприкосновенна? И на войне он был, как я знаю, вовсе не сестрой милосердия. Так в чем же дело? В чем дело, я стал догадываться несколько позже, но для этого пришлось прослушать еще не одну сотню метров магнитной пленки.

А тогда, сделав свое дело, мы быстро, но не бегом дошли до ближайшего перекрестка, где за углом уже ждала обогнавшая нас машина вместе с сидевшим в ней режиссером, который перед тем наблюдал поставленную им мизансцену. Физиономия у него была кислая, и он старался на нас не смотреть. "А что ты думал, когда репетировал с нами?" Я был рад, когда через два квартала он, холодно с нами попрощавшись, вылез из машины: этот чистолюбой шушал мне отвращение.

Вечером, не дожидаясь записи, мы вместе с оператором прослушивали монолог профессора. Не скажу, чтобы мы чувствовали себя, как киношные дебютанты, которым не терпится увидеть свою физиономию на экране, но нас чисто профессионально интересовало, как профессор будет реагировать на сегодняшнее нападение, что он будет об этом говорить, если вообще будет говорить. Профессор говорил. Он говорил как обычно, задумываясь, по несколько раз выверяя вес той или иной фразы, иногда наполняя паузы ритмичным стрекотом машинки, чтобы после этого разрабатывать следующий абзац. Он говорил не о нас, но мы сразу поняли: это не было нашим выигрышем — он просто продолжал начатую тему, а нам с нашим нападением приходилось дожидаться своей очереди.

Потом мы долго молча сидели. В комнате было накурено и пахло вагоном.

— Профессор вызывал рассыльного из химчистки, — как-то отчужденно сказала заводила. — Пусть кто-нибудь сходит. Надо зайти ему в подкладку "аспирина". До сих пор у нас не было такого случая.

Но, говоря это, заводила думал о чем-то другом.

Да, нападение не дало нужных результатов. Точнее, это было нашим первым ощутимым поражением в игре с профессором. Я не хочу сказать, что до сих пор мы в этой игре хоть что-нибудь выигрывали, но до сих пор мы и не делали ни одного решительного хода. Теперь, сделав его, мы сразу же и недвусмысленно проиграли — профессор не перестал говорить. Более того, он даже не ~~осозна-~~вился на нашем нападении; нет, не заметил его, но оно не прервало последовательного развития его романа. До нападения еще не дошло, хотя некоторые события, описываемые в романе, наоборот, опережали действительные происшествия. Действительные, но случившиеся после того, как он их описал. В том-то и вопрос. Здесь было нечто большее, чем утечка информации — профессор предсказывал будущее. Однако тогда мы еще не знали этого будущего и не поверили старику. И в этом тоже была наша ошибка: мы опять были сбиты с толку его осведомленностью о настоящем и из-за этого одно принимали за другое. Правда, в последнем я до конца не уверен, потому что, может быть, было и то и другое, иначе, как объяснить все дальнейшие события, особенно те, что касались профессорской квартиры?

Пока же профессор продолжал свое повествование, где какой-то тип, избрав себе нелепую профессию, занимается какими-то нелепыми делами, а попав впросак, каждый раз еще и удивляется, как это его дурацкая деятельность не дает положительных результатов.

На этот раз ^{речь} шла об одной операции, части все той же истории, в которой мы и сами на нашем уровне не могли разобраться, то есть во всей истории в целом. Я не имею права ее рассказывать, хотя теперь, с подачи профессора, она известна всему миру, — но у нас она засекреченна. Так что я не буду о ней здесь распространяться, тем более, что для моего рассказа подробности особого значения не имеют — важно лишь то, что профессор опять какими-то своими путями ее узнал, и это угрожало спутать наши карты. Этот свой роман (или повесть?) он писал от первого лица, которое странным образом, буквально вплоть до веснушек походило на мое, хотя профессору (в этом я абсолютно уверен) неоткуда было меня узнать, а кроме того многие из тех вещей, которые у него рассказывал якобы я, на самом деле я узнавал только из магнитозаписей с этим самым романом. Тем не менее я боялся, как бы мои товарищи-экстрасенсы не узнали меня по профессорскому описанию, потому что тогда меня могли бы заподозрить в передаче профессору информации, я тогда не знал, да и знать не мог, ^{и хотя, по сути, я} многого из того, что рассказывал профессор, теоретически такой вероят-

ности нельзя было исключить. Так что мне не очень хотелось, чтобы мои друзья идентифицировали меня с этим придурковатым малым. Но похоже, пока этого сходства никто кроме меня не замечал, а может быть, я стал слишком мнительным и случайное совпадение принимал за намек.

Да нет, это точно был я: дальнейшее развитие сюжета подтверждало это, хотя, как и я говорил, некоторые описываемые там события опережали действительные происшествия, и поэтому, по мере того как повествование приближалось к концу, я постепенно переставал понимать, где подлинный я, а где описываемый, и что делаю я, а что тот. Я находил себя в том и переставал чувствовать свою собственную подлинность, и мое существование начинало казаться мне вымышленным и искусственным. Я был как под гипнозом, вообще как будто профессор подменил меня своим персонажем и теперь определял мою судьбу через мою собственную деятельность, и я ничего не мог в своем поведении, чтобы опровергнуть его. Это была какая-то странная игра, смысл и направление которой я все меньше и меньше понимал, и которая с развитием сюжета все меньше и меньше мне нравилась, но и выйти из этой игры я не мог. Правда, это уже зависело не от профессора, а от тех исходных данных, которые обусловили мое участие в этой игре, но может быть, и профессор в отличие от меня имел эти данные и на основании их лишь прогнозировал мое поведение, а вовсе не определял его. Но то, что я знал о его прогнозах, не могло не влиять хотя бы на мою оценку собственного поведения и поведения моих друзей. Однако я подобно профессору, забегаю вперед, хотя в отличие от него мне уже до конца всё известно — я ничего не прогнозирую.

А мои друзья... Впрочем, они были не совсем точно воспроизведены в моих персонажах и их было меньше, чем было на самом деле, а иногда их, наоборот, было больше, но порой мне казалось, что нас может быть ровно столько, сколько необходимо профессору — не больше и не меньше. Всё это, я думаю, объяснялось творческими соображениями профессора, так же, как и то, что кто-нибудь из нас (я имею в виду его персонажей) вдруг высказывал чуждые нам мысли (вероятно, мысли профессора), а иногда (в то время мы с нашей примитивной логикой еще не научились делать допущения) вообще начиналась какая-то невнятица, и преследуемый почему-то превращаясь в преследователя или расследовал преступление, которое сам же совершил и даже продолжал совершать, и идя по собственным следам, не мог догадаться в чем дело; или один человек имел несколько имен; или, что еще более странно, несколько чело-

век носили одно имя, — но все это мелочи, потому что человек, посвященный в это дело, вполне мог понять, что вся история пишется с натуры и что если где-то что-то искажено, то это только для того, чтобы запутать расследование. Так я думал в те времена, потому что еще не понимал, что для профессора в его романе просто не важна хронологическая последовательность событий, а та или иная психология, связь действий и рассуждений не присваивались как функции определенному лицу. Несмотря на это роман содержал слишком большую фактическую информацию, и это ставило под угрозу всю нашу работу. Роман еще не вышел в свет, но и не должен был выйти — мы не должны были этого допустить.

Но теперь, когда в подкладку профессорского пальто был зашит "аспирин", стало совершенно очевидно, что профессору никто не помогает, и даже предположить было нечего о том, как поступает к профессору информация о нашей работе и как потом в обработанном виде (статьи, повести, эссе и прочее) вся эта информация поступает в печать.

Это был совершенно новый радиомикрофон размером с таблетку аспирина и похожий на нее, за что он и получил свое название, и прослушивать и записывать с него можно было в радиусе ста-ста пятнадцати метров, следуя, например, за объектом в машине. Дорогая штука — его трудно было получить, но профессор стоил классного шпиона, а то и двух, и нам не отказали, хотя к тому времени нам он был уже не нужен: мы и так были уверены в том, что профессор ни с кем никаких связей не имеет. Теперь этот микрофон сопровождал профессора а его прогулках, а кто-нибудь из наших (иногда это был я) следовал за ним в машине по другой стороне улицы, если эта сторона была правой, и занимался бессмысленным делом: записывал профессорское молчание, изредка прерываемое теми репликами, которыми он обменивался с продавцами в магазинах.

В это время появилось новое обстоятельство, явление, которого мы не могли объяснить, но оно было, может быть и случайной, помехой при прослушивании, в остальном в нем не было никакой видимой связи с описываемыми событиями, — так, дополнительная странность, возможно, просто совпадение, но все-таки загадка, а нам их и без того хватало.

60

Я уже говорил, что время нашего негласного осмотра профессорской квартиры, мы видели там проигрыватель и довольно большое, но, пожалуй, несколько тенденциозное собрание пластинок, и теперь в наших магнитозаписях регулярно попадались длинные музыкальные вставки, которые нам, хотя и выборочно, ежедневно приходилось про-

слушивать, и естественно, это была самая нерезультативная часть нашей работы. К тому же и вкусы профессора далеко не во всем совпадали с нашими. Это не значит, что мы ничего не признавали, кроме танцевальной музыки. Все мы люди образованные, специалисты в своей области, но и помимо этого не чужды культуре. Кому не бывает приятно задуматься под квинтет Моцарта или Хоральную прелюдию Баха? — и мы задумывались, тем более, что было о чем. Или погрузиться под вальсы Шопена... Меньше мы любили Стравинского и Прокофьева, но и этих мы приучились слушать через какое-то время. Спустя два-три года после начала прослушивания нас перестали раздражать Шёнберг и Веберн, но профессор в порядке "отдыха" иногда слушал таких композиторов, среди которых даже Штокгаузен показался бы слишком академичным и старомодным. Мы уже потом узнали, что никак называется от одного музыковеда, но пристрастие профессора к авангарду часто нас утомляло. Эти длинные музыкальные "паузы" наступали где-то в середине дня, а потом занимали еще час перед сном, после работы. И все-таки все бы это было терпимо, но тут музыка иногда стала накладываться и на монологи профессора — что такое?! неужели он пишет под музыку? Сначала мы так и подумали. Мы предположили, что профессор в целях конспирации глушит свои монологи пластинками, специально отбирая самые неудобоваримые для нас вещи, а сам, ... ну, может быть, затыкает уши ватой? Но против последнего говорил тот факт, что музыка начинала иногда звучать и среди ночи, когда профессор уже давно спал, — мы специально сделали несколько ночных записей, чтобы это узнать. Более того, она стала иногда включаться во время его отсутствия, что могло быть объяснимо только специальным стремлением дурачить нас, поставив какое-нибудь реле, — это нетрудно сделать. Мы решили проверить такую возможность и для этой цели опять навестили квартиру профессора, выбрав момент, когда он был в отлучке, а музыка звучала. Мы не нашли никакого устройства, и проигрыватель не работал, и в квартире вообще не было никакой музыки, но всё это время и то время, что мы там находились, она это уже ни в какие ворота не лезет!) записывалась на магнитофон. Наши разговоры в квартире вместе с музыкой попали на пленку, но мы так и не обнаружили ее источника. На всякий случай мы в ходе нашего визита испортили профессору проигрыватель, но это, конечно, ничего нам не дало — и в дальнейшем музыка все так же появлялась, когда хотела. Теперь уже не один оператор, а целая группа занималась тем, что отфильтровывала профессорские монологи от этой музыки, существовавшей, видимо, только для нас, потому что больше никто, включая и жильцов этого дома, ~~никогда~~ ее не слышал. Было такое впечатление, что она существует в этом доме, как в эфире, но кто и

откуда ее передает, оставалось невыясненным. Заводила, обладавший одним замечательным талантом задавать самые неординарные вопросы не только другим, но и себе, подошел к этой загадке с другой стороны. Он связался с одним музыковедом, крупным специалистом в области современного авангарда, и все мы вместе в течение нескольких дней прослушивали эту какофонию. Музыковед был озадачен не менее, а может быть, и более нас. В конце концов он заключил, что это несомненно аванград, но не только никогда им доселе не слышанный, а, что еще интересней, он, музыковед, не может найти ему аналогов ни в отечественной, ни в современной музыке. "Не могло же это возникнуть на пустом месте!" - удивлялся музыковед. Еще он сказал (но мне кажется, здесь он противоречит самому себе), что в этой музыке, в самой ее логике, угадывается национальная традиция. Он оговорился, правда, что когда дело идет об авангарде, трудно вообще говорить о традиции, и в данном случае он не может указать хоть сколько-нибудь определенного влияния современных композиторов, однако можно найти некоторые предпосылки в отечественной музыке конца прошлого века. "Здесь какая-то другая линия развития, - сказал он, - другой вариант истории. Истории музыки", - уточнил он. Мы подали плечами - мы же в этом не специалисты. А в чем, собственно, мы специалисты? Впоследствии мне всерьез пришлось задуматься над этим, но пока всем нам приходилось думать о другом, о том, чтобы не дать новому роману профессора (всё это время мы о нем не забывали) появиться в печати, а музыкальное оформление этой истории мы временно отложили в сторону.

Профессор жил своей обычной жизнью: произносил монологи, спал, смаковал по вечерам коньяк или портвейн, прогуливался со своим персональным микрофоном, который он, кстати, уже описал, - а мы жили жизнью профессора, его романами и привычками, и никак не могли установить ни малейшего намека на контакт. Похоже, что его не было. Тем не менее профессор каким-то путем получал информацию и как-то ее передавал.

- Старик сам экстрасенс, - сказал однажды заводила, - только не такой, как мы. Настоящий экстрасенс, - вздохнул он, - и пожалуй, гений.

Мы засмеялись: то, что профессор гений, знал весь мир, и наконец это дошло до нас.

- Старик гениальный экстрасенс, - сказал заводила, - не нам чета.

- Ну и что? - спросил кто-то из нас. - Что из этого?

- А то, что он получает информацию экстрасенсским способом, -

сказал заводила, — другого объяснения я не нахожу.

— А передает тоже экстрасенсорным?

— Возможно. Нужен специалист.

Какой там специалист! Какой специалист мог бы переписать профессора? Мы вдруг почувствовали, что давно уже восхищаемся нашим стариком, что мы гордимся им и за него болеем. Мы почувствовали реальность.

Пришел какой-то тип, от которого за версту несло невежеством, несмотря на всю его спесь и дорогой костюм. Его ассистенты притащили громоздкий электроящик и еще один чемодан и удалились, так как у них не было допуска, а чародей достал из чемодана медное кольцо с двумя торчащими из него антеннами для транзистора и длинным проводом. Провод он подсоединил к ящику, а ящик, в свою очередь, включил в сеть. Потом надел на голову свой обруч и сел посреди комнаты на стул. Так и сидел, похожий на улитку и такой же глухой. Некоторое время он молчал, потом жестом позвал заводилу и довольно похоже описал местонахождение профессора в комнате и его положение в кресле. Потом воспроизвел некоторые жесты профессора: наливание чего-то из бутылки в стакан, закуривание и прочее. Как впоследствии мы проверили по магнитозаписи, все это было верно, но все это было, все, что было. Слов профессора, а тем более его мыслей колдун угадать не смог. Мы сидели и смотрели, но он не умел ни читать мысли, ни предсказывать судьбу. На наш вопрос о направлении, он ответил, что мысли профессора распространяются во все стороны, как радиоволны, и что так бывает с мыслями каждого человека, только у каждого своя мощность и свой диапазон, а расшифровывать передаваемую информацию он не может, если это не образы и не картины. Зато возможно установить телепатическую связь, если известны индуктор и перцепиент, и он скажет, существует ли такая связь, если ему укажут точное местонахождение нашего начальства, (он предварительно был введен в курс дела). Более того, он обещал в этом случае дать нам точный портрет перцепиента — индуктором в данном случае был профессор.

— Ну уж душки! — ответил заводила. — Я и спрашивать не рискну, — но потом подумал, махнул рукой и пошел звонить.

Разумеется, вместо такого разрешения он получил только лишний выт, тем дело и кончилось.

На самом деле такая скрытность была делом чисто условным, установленным, потому что местопребывание нашего начальства давно уже было секретом полишинеля, благодаря все тому же профессору, который в свое время, не называя, конечно, ни улицы, ни номера дома, опи-

сал и то и другое, а дом, так даже с планировками, хотя сам он там никогда не бывал. Но все это он изобразил, как всегда, в таких обтекаемых выражениях, что нельзя было с уверенностью сказать, наше ли это начальство изображено или како^б-нибудь другое, сидящее на его месте. Да и сам этот дом был и тот, и, вроде бы, не тот, и к тому же имел одно дежурное отличие от того, одну черту, столь характерную, я бы даже сказал, издевательски характерную, что она как бы заявляла: это не тот дом.

И каждый раз он ускользал так же ловко, и всегда его не за что было ухватить. И дело не только в том, что он не называл конкретно мест, лиц и имен, но больше в том, что он писал не о ком-то, а о чем-то и говорил не о человеке, целостном типе, чтобы это можно было хотя бы принять за намек, а о тех слагающих, которые этого человека делают (он ведь был психологом и прекрасно владел этим искусством); и он синтезировал нечто новое, невероятно комическое и уродливое, такое, чего, в общем-то, нет, то есть, пока нет, не появится, может появиться. А если он зашифровал нечто реально существующее, то лишь колызину, фэбулу, типы же, для действовавшие там, были всегда абсурдны, но со временем и реальные ситуации из нашей жизни стали мне казаться абсурдными. Абсурдной стала мне казаться и игра, которую мы вели, а ведь она очевидно не была абсурдной.

Иногда он использовал наш профессиональный жаргон, но это была как раз та самая книга, где мы (или это не мы?) были действующими лицами, и когда мы это поняли, было естественно для нас предположить, что в ней он будет пародировать нас и издеваться над нами, над нашими убеждениями и мыслями, что он изобразит нас тупыми и фанатичными держимордами, — однако ничего этого не было. Он не стал издеваться над нами, а что касается наших убеждений, то он повернул дело так, что никаких убеждений у нас просто не было, а те, что мы считали нашими убеждениями, на самом деле оказались всё теми же нелепыми правилами нелепой игры, и в эти правила входили такие условия как Долг и Честь, только это не были настоящие Долг и Честь, потому что здесь — это — жаргонные слова, в контексте этой игры они потеряли подлинный смысл и превратились в свою противоположность. И по мере продвижения этой повести к концу я всё лучше и лучше понимал, почему я был прав, когда предположил, что профессор и при физическом превосходстве не стал бы драться с нами — он видел в нас не злых и жестоких негодяев, а скорее жертвы всё той же нелепой игры, жертвы в гораздо большей степени, чем он, потому что мы не понимаем этого. Обидно, конечно,

когда тебя считают дураком, да только на кого обижаться? И в общем-то, мы уже давно не обижались на профессора. Напротив, пока мы играли с ним в нашу игру — строили против него всяческие козни, подслушивали да подглядывали за ним, — мы и сами не заметили, как он стал для нас наивысшим авторитетом, причем почти во всех вопросах: не только в вопросах искусства или своей науки, но — смешно признаться! — даже в быту мы начинали равняться на него. Сначала стала выправляться наша дикция и интонации, потом мы заметили, что строже, чем прежде, относимся к языку (более четко формулируем вопросы, что в профессии¹ экстрасенса иногда и не в его пользу, так как некоторые вопросы должны быть неясны и двусмысленны, чтобы ответы на них были по возможности более пространны); постепенно, смягчился и стал не таким специфическим наш юмор, впрочем здесь было много буквально профессорского, так как у нас с языка не сходили всякие его шуточки и остроты и подчас такие, за которые начальство бы нас не погладило; потом мы помимо воли стали подражать его манерам и если так и не выучились на джентльменов, то это наша вина, и наконец, однажды завила появился в черном пальто и "Борсалино", но при этом сам выглядел, как Борсалино.* "Нет, — с грустью подумал я тогда, — такая внешность, как у профессора, даром не дается — она вырабатывается годами совершенно другой жизни." И еще я подумал, что, когда профессор полулежал-полусидел там, на грязном асфальте, он не выглядел ни жалким, ни униженным — он выглядел достойно, как раненый, а жалкими и униженными выглядели мы.

Теперь, когда профессор описал нас со всеми нашими комплексами, я понимал, что он наперед знает все наши ходы, а мы просто беспомощны, как котята, против него, и что нам давно пора сложить оружие, но мы продолжали наши действия против него, прекрасно понимая, что единственным нашим выигрышем будет безнаказанность, но нужно же нам было хоть чем-то оправдать наше существование. Что же касается безнаказанности, то здесь мы знали, на что рассчитывали. Конечно, профессор видел нас насквозь и мог прогнозировать наши действия, но за это время и мы в какой-то мере узнали характер профессора и тоже могли предположить, чего от него можно ожидать, точнее, чего от него нельзя ожидать. Например, мы наверняка знали, что от него не приходится ждать какой-нибудь подлости, хотя подлость, конечно, понятие условное: скажем, всё, что вызывается общественной необходи-

* Знаменитый мафиозо, давший название весьма элегантной шляпе.

мостью, не может оцениваться в обычных нравственных категориях — ведь если дело идет о пользе целого общества... Ну ладно, я ухожу не в ту степь. Я говорил о том, что от профессора не следовало ожидать какого-нибудь подвоха — так, какая-нибудь шутка, — и если он иногда загонял нас в угол, то спортивно, по-джентельменски, между нами, не навлекая на нас гнев нашего начальства, ведь он и начальство ставил в тупик. И тогда, после нападения, он повел себя как мужчина, то есть не стал делать каких-нибудь заявлений, поднимать шум в прессе, привлекать к этому делу мировую общественность и так далее — видимо, он посчитал это своим личным делом. А ведь если бы он сделал заявление, то наше начальство потом отыгралось бы на нас за нашу грубую работу. Но он по своей манере свел счеты более тонко. Опосредованно. Он заставил смеяться над нами весь мир. То есть, персонажи были как бы вымышленные, но мы-то знали, над кем смеются. Конечно, когда я говорю — весь мир, — я имею в виду читающую публику. Еще уже: публику, читающую профессора. Но это тоже немало. Так или иначе, а я хочу сказать, что откровенного, склочного, кляузного подвоха от профессора ждать не приходилось. Во всяком случае, пока он жив. Вот если бы с ним что-нибудь случилось, тогда поднялся бы невообразимый шум, потому что к этому времени профессора выдвинули на Нобелевскую премию, и теперь он был как на сцене.

Но — Боже упаси! — мы и не хотели делать ничего подобного и — я уверен — наше начальство — тоже. Конечно, необходимо было обезопасить профессора, но не менее необходимо было разгадать его загадку, потому что если один раз появилось нечто непонятное, то какие гарантии, что не будет повторения?

И здесь наш расчет строился как раз на том, что профессор будет жив и здоров, а логическая ошибка была в том, что если профессор не ищет защиты у мировой общественности, то это как раз потому, что он не трус, а если не трус, то значит и не испугается. Понимаете, о чем я говорю? Но именно этой простой вещи мы не учли. То есть, мы даже, пожалуй, и учли, просто нам ничего другого не оставалось, так как наши научные изыскания до сих пор не увенчались успехом, а ситуация с каждым днем становилась всё острее и острее, а кроме того у каждого из нас в глубине души все-таки теплилась надежда, что профессор каким-либо образомотреагирует на нашу провокацию и тем самым даст нам какую-то хотя бы слабую зацепку. С другой стороны, нам хотелось хоть какого-нибудь диалога, потому что профессор всё никак не вовлекался в игру. Ну и наконец, наше начальство требовало от нас конкретных действий, а не пассивного наблюдения, не забывая, впрочем, напоминать об осторожности.

Режиссер, извлеченный для этого из какой-то киношной экспедиции, на этот раз крайне неохотно согласился помогать нам, но всё-таки профессионализм взял верх, и всё, в конце концов, сла-
дилось. Мы выбрали перекресток, похожий на тот, где намечался эксперимент, и отрабатывали там наш трюк целый день, замаскировав его под съемки политического детектива. Конечно, как всегда в таких случаях, вокруг площадки собралась толпа, и любопытство этих зевак сильно нервировало нас и мешало работать, но когда мы просмотрели видеозапись, сделанную как бы с того места, где находится профессор, то увидели, что все выглядит очень внушительно. Правда, и сделано это было по его же уже написанному к тому времени сценарию, вернее по написанной части этого сценария, и этот эпизод мы тогда принимали всерьез — ведь мы не знали, что он снова нас надул, надул еще раньше, до того, как мы приступили к делу. Но я опять забегаю вперед, тогда же, несмотря на все репетиции, я очень волновался, когда на следующий день на ходу пристраивался в уличной сутолоке где-то сзади профессора: ведь нужно было не только не отстать от него — нужно было настолько точно скоординировать свои движения с его движениями, чтобы в нужный момент (не раньше и не позже) оказаться рядом с ним, и сделать это нужно было так, чтобы он до этого момента ни в коем случае меня не заметил. Думаю, что он и в самом деле меня не заметил, даже не подозревал о моем присутствии. Возможно, он даже не знал, что это произойдет именно в тот день, но ведь он сам подсказал нам эту мысль... Однако профессор, как обычно, величественно и невозмутимо шествовал со своим портфелем по проспекту, я же довольно ловко маневрировал среди встречных и невстречных прохожих, оставляя лишь между нами двух-трех человек, чтобы, выйдя за угол, оказаться как раз за его спиной. Моя роль была, пожалуй, самой ответственной, потому что в этом спектакле малейшая моя неловкость могла стать для всех нас роковой.

Зеленый свет загорелся точно к тому моменту, когда профессор вышел на перекресток. Профессор шагнул на проезжую часть и здесь, черная машина, вывернув на бешеной скорости, юзом вылетела из-за поворота, и перескочив правыми колесами через угол тротуара, наверняка сшибла бы и размолила профессора в пух и прах, если бы я за какую-то ничтожную долю секунды не выдернул его с такой силой, что он отлетел к стенке дома и едва удержался на ногах. Это был мой шедевр. А автомобиль, грохнувшись днищем о панель, умчался, но из него еще успела высунуться зверская рожа в темных очках и в кепке — жаль, если профессор не успел этого заметить. Но ведь ты же сам все это предсказал, ты же умеешь предсказывать, — ну так вот, получай!

Тем не менее я должен был сыграть свою роль до конца, то есть разъяснить профессору, если он чего-нибудь не понял, а потому я бросился к нему, чтобы поддержать его. Профессор был немного взволнован, но старался не подавать виду.

- Что это? - задыхаясь, спросил я. - Вы заметили номер?

- Номер был залитан грязью, - сказал профессор.

- Это не случайно, - крикнул я, - не лихачество.

Профессор пожал плечами.

- Это покушение. Они хотели вас убить!

- Вы думаете? - оживился профессор.

Меня разозлила его тупость.

- Конечно! - крикнул я. - Ведь машина ехала прямо на вас.

Если бы меня здесь не было...

- Но вы были, - иронически улыбнулся профессор и перешел улицу.

Разочарованный, униженный, я смотрел ему вслед. В этот момент я по-настоящему ненавидел его. Да, по оплошности, то есть, увлеченные репетициями и предстоящим спектаклем, мы в этот день не прослушали запись, сделанную накануне, а если бы мы ее прослушали, мы бы просто отменили спектакль.

"Для того, чтобы поставить и точки над *i*, для того, чтобы закрепить впечатление, - и в этой излишней обстоятельности выразился недостаток вкуса, как раз то, что иногда губит и очень хорошо задуманное произведение, - понадобились эти круглые от страха глаза и разинутый рот, да созвездие веснушек на простоватой физиономии. Может быть, две-три минуты понадобилось, чтобы прийти в себя и понять, в чем дело, но мальчик растолковал это в ту же секунду."

Да, всё "созвездие веснушек" пылало на моей "простоватой физиономии", когда я слушал этот отрывок, но "недостаток вкуса" мы не без удовольствия оставили режиссеру.

Черт возьми! Что бы профессору изложить всю историю последовательно, и тогда мы не затевали бы этого дурацкого мероприятия, но профессор, начав рассказывать эпизод с покушением, ушел по своей манере далеко в сторону, пустился в отвлеченные рассуждения и добрался до меня только через несколько дней, а за это время мы как раз успели отрепетировать и исполнить вокруг него наш идиотский танец. Надо же так опозориться!

После этой неудачи мы уже не ломали себе особенно голову над тем, каким образом профессор предсказывает наши действия.

Мы приняли за основную версию мнение одного социопсихолога (кстати, ученика профессора и его преемника на кафедре социальной психологии), который после наших настойчивых уговоров (но, как я предполагаю, его сомнения были отнюдь не нравственного характера) в конце концов согласился высказать свои соображения относительно этого феномена. Он сказал, что структура нашего детерминированного общества может породить очень небольшое количество комбинаций, причем довольно несложных. Поэтому при определенном образовании принципиально возможно смоделировать ту или иную ситуацию, и каждая из этих ситуаций, в свою очередь имеет малое количество тенденций. Так что нужно только выбрать доминирующую, и сюжет будет развиваться как элементарная логическая задача. "Короче говоря, дедуктивный метод," — сказал он.

Конечно, эта теория объяснила далеко не все связанные с профессором загадки. Откуда, например, бралась та музыка, которая время от времени звучала в профессорском доме, или как появлялись произведения профессора в печати? А потом моделирование моделированием, но всевозможные подробности — ну хоть мои веснушки — откуда они? Однако повторяю, теперь у нас уже не было времени ломать себе над этим голову, а кроме того мы, наконец, поняли, что все наши неудачи вовсе не оттого, что он знал наперед все наши ходы, а оттого, что он не играл. И затеяв нашу игру, мы думали, что это будет игра в одни ворота, — это была игра в одни ворота, только в наши ворота, и мячи в них мы забивали сами. Я же говорю, что профессор с самого начала выбрал верную позицию. Ведь мы вели тактическую игру, а какая тактика возможна без взаимодействия? Зато его поведение можно было расценивать как стратегию, но это вообще была его жизненная стратегия, заключавшаяся как раз в том, чтобы не играть. В общем, это была стратегия локомотива, идущего по рельсам — попытайтесь-ка с ним фехтовать. Если у вас нет средств разворотить рельсы, никакие тактические ухищрения, финты и обходные маневры вам не помогут.

И все-таки заводила нашел выход, то есть, именно средство разворотить рельсы.

— Если профессор так крепко стоит, — сказал он, — нужно разрушить то место, на котором он стоит.

Сначала мы не поняли, что он имеет в виду.

— Ты имеешь в виду его "пьедестал"? Его известность? — уточнил я. — Это не в наших силах: мы не можем бороться со свершившимся фактом. Даже отвлечь от него внимание мы не можем. Свеженький нобелевский лауреат — это же кормушка для журналистов.

(К этому времени профессору уже присудили Нобелевскую премию).

Но заводи́ла только отмахнулся от меня.

- До сих пор профессор стойко держался благодаря чувству своей правоты, - продолжал он. - Нужно ^илѣшить его этого чувства. Наоборот, заставить почувствовать себя виноватым.

- Как ты это сделаешь?

- Нужно ~~выжечь~~ землю у него под ногами. Буквально выжечь.

И мы были настолько увлечены этой идеей, что пошли уже на самые крупные ставки.

Сначала ударил "гейзер" неподалеку от профессорского дома: прорвало трубу теплосети, и горячая вода, пробившись сквозь толщу земли, забила под давлением в шесть атмосфер и в облаках пара захлестнула тротуар. Образовалась огромная, в несколько десятков квадратных метров, дымящаяся лужа. Несколько дней жители, проклиная районные власти, обходили лужу по противоположной стороне улицы, но они еще не знали, что ожидает их в ближайшем будущем. Оказалось, что неисправность нельзя устранить иначе, ~~чем~~ ^{как} отключив отопление во всем квартале, но когда это сделали, погас свет. Его, правда, никто не отключал. Просто замерзающие жители квартала включили все электроприборы и на подстанции пробило щит. Нам пришлось покинуть нашу лабораторию, которая находилась в том же квартале, напротив и немного наискосок от профессорского дома, и не столько от холода, сколько из-за того, что в связи с аварией на подстанции бездействовали наши магнитофоны. Так что профессор на целые сутки выпал из поля нашего зрения.

На утро начали земляные работы, но никто не знал места повреждения трубопровода, поэтому пришлось вырыть глубокую широкую траншею, выбросив оттуда сотни кубометров земли, которая потом, уже и после ремонта до самой весны возвышалась плотным бруствером, протянувшимся от профессорского дома до перекрестка.

Следующим номером^М была операция "Дерьмо". Почему-то прорвало трубу канализации на улице, пересекающей проспект, да так, что зловонная жижа хлынула в уже вырытую траншею и затопила только что отремонтированную трубу теплосети, и это сделало невозможным работу по ее изоляции. Нагреваясь от трубопровода, нечистоты наполнили квартал невыносимым смрадом. Чтобы разыскать повреждение вырыли еще одну траншею, которая перегородила проспект, и теперь пришлось перекрыть движение трамваев и

троллейбусов, вообще всякое, кроме пешеходного, движение в этом квартале и соответственно перенести остановку. Во время земляных работ повредили телефонный кабель, и население совсем озверело.

Всё это, конечно, стоило кучу денег, а кроме того навсе эти аварийные службы, строительные и ремонтные организации, вообще на районные власти сыпались бесконечные жалобы во все инстанции, и в конце концов к этому подключились вечерние газеты — там ведь не знали, что всё это наши хлопоты, — а те, кто непосредственно занимался вредительством и ремонтом, не знали, что отвечать и когда обещать, и тем более никто не знал, что за все это можно благодарить одного единственного человека, который все никак не желал угомониться.

Наконец, наши фантазия и возможности истощились — ведь мы ~~ни~~ не могли управлять силами природы, — наступило временное затишье, то есть, улицы по-прежнему оставались перекопанными, жителям, в том числе и профессору, приходилось каждый день, а то и по несколько раз в день перебираться через облепленный бруствер и через траншею по узким и ненадежным мосткам или делать большой крюк, чтобы обойти это безобразие, — но новых шуточек мы придумать уже не могли и приостановились. Внезапно началась оттепель, в квартале была слякоть и грязь, настроение у всех было подавленное, и в этот момент нас вдруг лишили нашего профессора. Когда мы узнали о предстоящем расставании, нашим первым чувством было чувство облегчения, такое, какое испытываешь после того, как у тебя вырвали долго болевший зуб, но уже в следующий момент оно сменилось чувством невосполнимой утраты — мы как будто враз осиротели. Мы посмотрели друг на друга сначала с недоумением, потом с любовью и печалью: мы так долго были участниками одного общего дела для нас, дела, в котором он объединял нас, как отец объединяет семью, и вдруг эта семья распалась — мы отвернулись друг от друга.

Заводила сходил к профессору (это был его второй визит) и имел с ним беседу.

— Меня это утомляет, — сказал профессор заводиле. — Я, вообще-то, собранный человек, но и мне с каждым днем становится все труднее отключаться, так что мой последний роман, по-существу, написан не мной, а вами.

Однако, — сказал, помолчав, профессор, — я старался не обращать внимания на ваши враждебные действия до тех пор,

пока они были направлены против меня — то, что в ваших кругах принято называть поединком, — (я почти увидел улыбку профессора), — но когда вы, как террористы, взяли заложниками население целого квартала...

Мы чувствовали себя очень неудобно. Я не хочу сказать, что мы вдруг осознали всю безнравственность нашей цели. Мы вообще с самого начала не преследовали никакой цели — просто играли, — но сейчас я совершенно ясно увидел, что профессор вовсе не считает, не может считать себя виноватым в несчастьях своих соседей. Это не важно, и уж во всяком случае, мы могли бы считать его виноватым, но была еще одна мысль.

В школе (правильно это или неправильно) в нас воспитывали благоговение перед великими людьми. Ну и, конечно, эта сокральная формула "Гений и злодейство — несовместимы"... А сейчас (поскольку гениальность профессора ни у кого не вызывала сомнений) нам приходилось усомниться либо в самой формуле, а сомнение в священной формуле уже само по себе как бы отступничество, либо, признавая формулу, вместе с ней приходилось признать, что мы сами отнюдь не на стороне Добра, — так сказать, по другую сторону баррикад. В общем, как ни верти, а всё получалось что не правы мы, а профессор прав. Но и без этого затея заводилы была пустой. С самого начала она была обречена на моральный провал, и нас мало утешало то, что мы наконец достигли какого-то результата. Это была позорная победа. Профессор уходил с развернутым знаменем. Он уходил не потому, что чувствовал себя виноватым, а потому, что чувство долга выражалось у него средствами, отличными от наших.

— Я думаю, что такое решение будет каким-то выходом для обеих сторон, — сказал профессор в ответ на предложение заводилы. Мы услышали, как он отодвинул кресло, видимо, встал.

Заводила пришел грустный и какой-то пристыженный.

— Писали? — спросил он, посмотрев на нас всех.

— Писали.

— Шпионы проклятые, — сказал заводила, — сотрите.

Мы и сами хотели стереть эту запись, только ждали распоряжения заводилы.

Цель, которой мы не добивались, была достигнута, и мы чувствовали себя, как изгнанники.

Вот и всё. Теперь начался какой-то странный отдых, и как бы отвратительно мы себя ни чувствовали, а все-таки облегченно вздохнули. В конце концов, даже и поражение может принести вам чувство облегчения, освободив наконец от неразрешимой иным способом проблемы. Как бы то ни было, а поединок с профессором, длившийся столько лет, наконец был закончен. И когда я подумал это, подумал буквально этими словами, вслед за тем я подумал и об этих словах, о том, как мы несвободны, как мы подчинены абсурдным положениям жаргона, и по существу, наша деятельность — сама есть жаргон. Для профессора, для любого нормального человека, поединок — это поединок, а для нас поединок — это "все на одного". И даже в этой нашей "дуэли" нам помогали всякие специалисты. Почему они нам помогали? Да, сейчас, имея время заниматься отвлеченными рассуждениями, я спросил бы (не у них — у себя): отчего все эти специалисты, все эти психологи и парапсихологи, социологи^и режиссеры, электротехники, сантехники и музыковеды, — отчего все они с такой охотой брались помогать нам? Поэтому поводу я хотел бы привести цитату из одной не опубликованной, а лишь записанной нами статьи, которая, правда, не имеет прямого отношения к нам, а рассматривает некоторые теоретические вопросы юриспруденции, но по аналогии может кое-что объяснить в поведении наших добровольных помощников:

"Гражданину, не искушенному в общении с юристами, но обращающемуся к ним в поисках справедливости, свойственно отождествлять Закон с этими его представителями; приписывать последним качества, присущие, по его мнению, самому Закону. При этом основополагающим из этих качеств неискушенный гражданин считает Справедливость. Не говоря о его собственных заблуждениях насчет Справедливости (что такое справедливость?), он не желает считаться с тем, что сама идея Справедливости абсолютна чужда Закону, противоречит природе Закона: ведь Закон отражает реальную жизнь, а в реальной жизни Справедливость не является чем-то частным — она выступает лишь как суммарный результат общественных отношений".

Мы не представители Закона — мы экстрасенсы, но видимо, отторжение к нам всех этих людей — наших добровольных помощников — было обусловлено принятой в обществе как аксиома, но по существу неверной посылкой, отождествляющей всякое право с обязанностью. Исходя из этой посылки, естественно было для сделать^{них} и неверный вывод; наделяя нас сверхъестественными качествами, они готовы были дать их нам взаимы. Ведь как экстрасенсы мы

были о б я з а н ы знать и быть всемогущими, а они считали, что это наше п р а в о .

Была ранняя, еще холодная, весна, отпуск никому брать не хотелось, и поэтому мы просто бездельничали, лениво, неспеша, приводили в порядок документы и просто так, чтобы еще немного потянуть и не включаться в новое дело, записывали с радиоприемника пресс-конференции профессора, интервью с ним разных журналов, радиостанций и телекомпаний и передачи о нем, которыми в это время был просто забит эфир. Профессор был героем дня. Он триумфально шествовал по свету, и везде (видимо, это все же не только мое провинциальное отношение к местной знаменитости) восхищались его замечательной внешностью, его старомодной элегантностью и естественной простотой его безупречных манер; его великолепным английским и таким же великолепным французским, и немецким тоже — языками. Да, я говорил, что мы всегда были в восторге от его английской, джентльменской внешности, только теперь я подумал, что она, пожалуй, вовсе не английская, такая же не английская, как его социология и психология, как его романы и статьи, — всё это наше, свое, только мы не желаем этого иметь и упорно беремся с этим, чтобы всегда восхищаться чужим.

А профессор продолжал свое турне, он побывал в Скандинавии и на Дальнем Востоке, и даже в странах Восточной Европы (как оказалось, он владел и некоторыми славянскими языками) и раздавал направо и налево свои остроумные интервью, но о нас он ни разу даже не вспомнил. Даже, чтобы посмеяться над нами. И хотя мы по своей профессиональной скромности никогда особенно не стремились к славе — наоборот всегда избегали рекламы, — такое его пренебрежение, по совести говоря, нас обидело. Впрочем, мы понимали, что мы были всего лишь частностью в жизни профессора, пусть неприятной, досаждающей, но частностью, а может быть, он просто считал ниже своего достоинства сводить счеты. Теперь профессор все больше и больше отдалялся от нас, и его голос слышался уже издалека, как эхо, отраженный во многих мнениях и толкованиях, но иногда бывает так, что именно эхо в своем отдаленном и очищенном звучании сделает для вас понятным то, что вы не успели расслышать, когда вам говорили в лицо. В своей Нобелевской речи профессор говорил о языке. "Вначале было Слово", — сказал профессор, но я не буду пересказывать эту речь — она достаточно широко известна. Скажу только, что в этой речи я совершенно по-новому увидел весь опыт его общения с нами. Ведь мы действительно его понимали, а он говорил, что язык освобождает человека, что добросовестное отношение к языку,

по сути дела, единственное, что может решить самые серьезные проблемы, стоящие, как перед отдельными людьми, так и перед всем человечеством.

И я подумал: "Почему же мы, зная профессора, любя его, доверяя ему, продолжали нашу игру? — и сам себе ответил, — Потому, что наша игра это все тот же жаргон. Это замкнутый, самодовлеющий язык, язык, не рассчитанный на коммуникацию."

И, может быть, именно из-за нашего косноязычия нам не удалось вовлечь профессора в диалог. Вот, если бы мы бросили свой дурацкий жаргон и обратились к профессору на нормальном языке, просто спросили бы, как ему удалось достичь такого совершенства, потому что здесь могла быть разгадка главной тайны профессора, потому что, может быть, она заключалась как раз в совершенстве языка, а вовсе не в телепатии... Да, может быть, нам удалось бы перехитрить профессора, и если бы он объяснил нам, как этого достичь... Нет, он не стал бы нам этого объяснять и правильно бы поступил. Потому что мы бы первым делом изобрели глушилку.

И вот теперь профессор с его загадками, вернее с его одной общей загадкой, все дальше и дальше уходил от нас, и в этой ретроспективе проявились некоторые детали, на которые в свое время никто из нас не обратил внимания. Когда мы, приступая к работе, изучали биографию профессора, мы были ориентированы на практические действия, и это обстоятельство настолько определило нашу точку зрения, что из нашего внимания выпали многие важные подробности, которые при правильно сформулированной задаче (феномен профессора, а не его деятельность) еще тогда стали бы ключом к разгадке многих таинственных явлений. Но в то время мы не предполагали заняться исследовательской работой и проглядели целый ряд фактов, именно ряд, потому что это были факты одного порядка и они в немалой степени объясняли исключительную одаренность профессора и даже, может быть, природу всех подобных явлений. Но мы, увлеченные предстоящей игрой, искали в биографии профессора другого: чего-нибудь компрометирующего, что дало бы нам возможность шантажировать его; или еще какого-нибудь уязвимого места, в которое в случае надобности можно было бы его поразить. В общем, мы искали слабости профессора вместо того, чтобы искать объяснение его необыкновенных способностей.

Но после того, как дело профессора потеряло для нас практический интерес (то есть, мы думали, что оно закончено), я решил снова заняться этой биографией, еще не представляя хорошенько, что

я буду там искать. Однако что-то в ней раздражало меня, что-то казалось мне нарочитым, вернее, была в ней какая-то закономерность, какой-то повторяющийся мотив, которого я все никак не мог уловить. Разгадка была где-то здесь, именно в биографии, может быть, даже не разгадка, а всего лишь гипотеза, которая в тому же еще только должна была появиться, но в таком деле и гипотеза — это много. Конечно, гипотеза не доказательство, но доказательства, конкретные улики, нужны для суда, а для теории важнее доказательства могут оказаться связи, логическая цепь, в которой каждый отдельно взятый элемент ничего не объясняет сам по себе, — короче, мне нужна была общая схема и эта схема вот-вот готова была проявиться. И тут (так кстати!) произошло одно событие, которое подтолкнуло меня к решению.

Дело в том, что после того, как дело профессора формально было завершено, заводила распорядился не снимать квартиру профессора с прослушивания, и это его указание тогда показалось нам в высшей степени нелепым: каким-то тупым бюрократическим упрямством. Но мы на этот раз недооценили заводилу, мы забыли о его способности принимать в неординарных случаях неординарные решения. Имея дело с профессором, можно было ожидать самых невероятных происшествий — так оно и случилось. На третий или четвертый день, когда мы, естественно, ничего не ожидая услышать, прокручивали очередную кассету с магнитозаписью, в динамике отчетливо раздавалась богато оркестрованная музыка, точнее то, что должно было считаться музыкой, то, что считал музыкой наш консультант музыковед, на самом же деле гремел и бесчинствовал звуковой авангард, но я не собирался пропагандировать здесь свои личные вкусы. Важно то, что мы опять обнаружили это загадочное явление, происхождения которого нам до сих пор не удалось установить. Но что особенно интересно: с музыкой было то же, что и с профессорскими монологами — при повторении нам удавалось узнать некоторые пассажи, но в различных вариантах. Некто отрабатывал эти пассажи так же, как профессор свои монологи. Меняя отдельные музыкальные фразы, добавляя или убирая некоторые инструменты, он, видимо, добивался какого-то неуловимого нами порядка.

Мы вошли в квартиру профессора. Все было так же, как и при тех наших, незаконных, обысках (если этот обыск считать законным), все было на своих местах (мы знали, что профессор ничего, кроме своего портфеля, с собой не взял), только все было, как выпавшим снегом, покрыто пылью, и казалось, что этот общий чехол приглушает наши шаги.

На этот раз мы осматрели всё еще более тщательно, благо, могли переворачивать и ломать, что было нужно. Но не стали много ломать, только оторвали пару подоконников, да в двух-трех местах поковыряли ломиком стены. Все это время заводила стоял в стороне и иногда улыбался в свои "профессорские" усы. Мне показалось, что он тоже о чем-то догадывается.

- Может быть, это какой-нибудь новый вид радиосвязи? - неуверенно предположил один из нас, когда мы закончили осмотр, но заводила покачал головой.

- Не ближе к истине, но уже дальше от ошибки, - загадочно сказал он.

Нет, это не было радиосвязью. В квартире действительно была какая-то особая среда, но эта среда была не принимающей, а воспроизводящей.

Вот в этом, собственно, и заключалась моя гипотеза. Музыка, звучавшая в доме профессора, определяла направление моих поисков, и если я еще и до этого чувствовал в биографии профессора какую-то закономерность, то теперь я уже знал, что это за закономерность, и не мог считать обнаруженные мной факты простым совпадением. Но прежде чем говорить об этом с заводилой, я, чтобы не быть голословным, снова взял биографию профессора и выписал из нее эти факты, которых все это время не видел в упор.

Оказалось, что интернат, в который поместили будущего профессора, после того, как он осиротел, был в прежние времена общежитием духовной академии, в которой когда-то учился наш великий национальный философ (его юбилей несколько лет назад торжественно отмечался ВНЕШКО). Позже профессор учился в школе, которую задолго до него закончил знаменитый писатель, классик отечественной литературы, а спустя два десятилетия - ученый, в корне изменивший представление о математике. Что касается университета, то стоит ли об этом даже упоминать? - всему миру известно сколько оттуда вышло блестящих имен. Конечно, мои предположения оставались только предположениями, но я решил обратиться с этим к заводиле. Правда, теперь нам это ничего уже дать не могло, но хотя бы из чисто научного интереса...

Но тут заводила сам вызвал меня по телефону в лабораторию. Он ничего не сказал, только посмотрел на нас со значением и поставил какую-то кассету. Сначала мы подумали, что это одна из старых записей с профессорским голосом. Мы сидели, слушали какой-то кусок из какой-то статьи и недоумевали.

- Вы что, не поняли? - спросил заводила, когда воспроизведение закончилось.

- Честно говоря, нет, - сказал я, - это слишком специально.

- Я не об этом, - сказал заводила. Он обвел нас всех долгим взглядом и наконец сказал. - Это вчерашняя запись.

До нас не сразу дошло.

- Эта пленка записана вчера, - сказал заводила. - Понимаете, вчера.

- Не может быть! - сказал кто-то из нас.

Заводила посмотрел на него и только усмехнулся.

- Какой час? - спросил заводила.

Я посмотрел на часы:

- Ровно девять.

- Тогда начнем, - сказал заводила и включил прямое прослушивание.

Послышался скрип, негромкое покашливание, потом что-то звякнуло, и забулькала наливаемая в стакан жидкость. Бормотание постепенно становилось все более членораздельным. Снова предложение "обкатывалось" у нас на глазах, то есть, не на глазах, конечно, но в нашем присутствии. Раздался ритмичный стрекот машинки, опять покашливание. Стрекот прекратился. Мы услышали начало следующей фразы.

- Теперь все ясно? - спросил заводила, и хотя никому, включая и заводилу, решительно ничего не было ясно, мы оделись и вышли.

Мы перешли проспект наискосок через две уже закрытые теперь траншеи, оставив на свежей земле, как на контрольной пограничной полосе, свои следы. Лифт в доме профессора снова работал, мы поднялись и, разорвав бумажную полоску с печатью, открыли ключом дверь. Тихо, не скрипнув, не прошелестев по стене плащом, мы просочились в прихожую и замерли. Из-за приоткрытой в комнату двери доносился приглушенный голос профессора. Оттуда на пол падала узкая полоска света. Мы помнили, что, переходя проспект, посмотрели на профессорские окна. Резким рывком заводила открыл дверь и, выхватив из кобуры пистолет, влетел в комнату, и сразу же за ним всей гурьбой ввалились и мы. Мы толкали друг друга в темноте, пока кто-то из нас не нашел выключатель. Большая комната была пуста. Ничто не изменилось в ней со дня нашего последнего присутствия, только пыли еще больше скопилось на предметах и на полу, и не было никаких следов, кроме тех, которые мы оставили в прошлый раз.

Заводила сдвинул пистолетом на затылок свою "борсалино" и отвалился к стене.

- Что за летающие тарелки! - на грани истерики воскликнул он.

Я прошел по комнате и подошел к письменному столу. Из машинки торчал лист бумаги, на котором мы прочли те самые слова, которые совсем недавно слушали.

Теперь как раз настало время поделиться своими соображениями с заводилой, что я и сделал, как только мы остались одни. Я сообщил ему все, что нашел в биографии профессора, включая и этот дом. Заводила крепко задумался.

- Ты знаешь, - наконец сказал он, - что-то подобное приходило мне в голову. Может быть, здесь и в самом деле действует какое-то энергетическое поле... Но чем все-таки объяснить эту музыку?

- А композитор? - живо откликнулся я. - Ты что, забыл, что он жил в этом доме?

- Кругло у тебя получается, - сказал заводила, - да не все сходится. Этот композитор жил в конце прошлого века. Не мог он писать такую музыку.

- Тогда - нет, - сказал я, - а сейчас? Пойми, этот композитор по тем временам находился в самом крутом авангарде, его в глаза называли шарлатаном. Неужели ты думаешь, что сейчас такой человек стал бы повторять зады девятнадцатого века?

- Но ведь он не живет сейчас! - разозлился заводила.

- Ты думаешь?

Заводила молчал.

Конечно, моя гипотеза была самым фантастическим из всех возможных объяснений загадки профессора, но разве все, что касалось профессора, не было фантастикой? Итак, сейчас мы приняли в качестве рабочей гипотезы существование какой-то энергетической среды и не только в квартире профессора, но и во многих других местах, в которых по ходу своей биографии профессор задерживался на более или менее долгий срок. Какое-то биополе, только на одних оно действовало, а на других - нет. Но там, где на это биополе ложилась биография профессора... Я вдруг вспомнил, что оба эти слова имеют один общий корень, и этот корень - жизнь. И может быть, эти поля существовали не сами по себе, но были созданы, накоплены разными людьми, такими, как тот философ или композитор, а потом затаились и только и ждали профессора, чтобы напитать его или, наоборот, ожить самим, потому что профессор обладал счастливым даром оживать все, к чему он прикасался, так же как мы - убивать.

Но как много, оказывается, существует на свете таких мест, если даже на одного профессора выпало столько. И как много было

людей, создававших эти места. Так вот откуда этот профессорский аристократизм, происхождения которого я не мог объяснить, но о котором так много говорил. Но тогда я имел в виду его внешность и прекрасные манеры, и хотя я уже тогда догадывался, что все это не только наружный лоск, а результат его безупречной биографии — биографии порядочного человека, но и это оказалось не все. Его аристократизм — это просто аристократизм. Самый настоящий аристократизм, результат его происхождения от могучего генеалогического дерева, выросшего на тех самых полях; генетический код его благородных предков — ученых, художников, поэтов — первооткрывателей, связанных с ним той общей родиной, которую они сами создавали, которой без них не было бы и у меня.

Однако, мы с заводилой не собирались заниматься абстрактными рассуждениями и не забывали, что идея биополя для нас прежде всего рабочая гипотеза, которая сможет послужить началом интересному эксперименту, если начальство его санкционирует. У нас не было никаких доказательств справедливости нашей версии, но мы понимали, что у начальства вообще ничего нет, и потому не исключено, что оно будет готово пуститься и в чистые авантюры. Для нас риска особенного не было, но при успехе предприятие могло принести нам значительные дивиденды. Заводила предложил идти к начальству вместе как соавторам этой нашей идеи. Он всегда был хорошим другом, но раньше он все-таки так бы не поступил. Теперь... Что-то изменилось в наших отношениях, да и в нас самих за последние годы. Может быть, это тяжелое многолетнее дело сплотило нас, а может быть... Трудно сказать, что.

— Только ты там не называй меня заводилой, — на всякий случай предупредил он.

— Конечно! — сказал я. — Что ж я, по-твоему, по уши деревянный?

Человек в роговых очках, которого до тех пор я видел только на праздничных собраниях два раза в год, внимательно выслушал нас и в целом одобрил идею:

— Если не удастся оторвать профессора от биополя, нужно уничтожить это биополе.

И он рассказал нам миф об Антее, знаменитый тем, что о нем уже когда-то упомянул другой большой начальник.

Договоренность с городскими властями была достигнута относительно быстро. Через неделю дом профессора был признан аварийным, расселен и назначен на слом. На его месте впоследствии предполагалось разбить небольшой скверик с обелиском. Все шло как по

маслу, но когда тротуар вокруг дома уже обнесли забором, и рать строительных рабочих со своими стенобитными орудиями уже готова была подступиться к его стенам, мы получили первый удар с той стороны, откуда никак не ожидали. Как же мы могли не учесть этого обстоятельства.

Вечерняя газета выступила с огромным подвалом о готовящемся акте вандализма, как назвал эти действия корреспондент. Мы не успели опомниться, как друнейшая в стране газета, занимающаяся вопросами культуры, разразилась истерической статьей по поводу разрушения памятников архитектуры — мало ли их разрушено! Подключилось "Общество Охраны Памятников Старины" и какой-то "Союз Инвалидов", все как с цепи сорвались. Вспомнили, наконец, и великого композитора, осчастливившего когда-то этот дом своим проживанием, и тут же спохватились, что не повесили там в свое время мемориальную доску. Орала все и при этом орала о патриотизме — ведь они не знали, что за этим стоит самая патриотическая организация в стране.

Нам пришлось отступить — не могли же мы объявить во всеуслышание, что это наших рук дело, а затыкать ^тры этим газетчикам, общественникам, ветеранам и всей остальной сволочи было уже поздно.

Наш главный начальник опять вызвал нас, и мы ожидали от него больших несчастий, но он только мягко пожурил нас. Он сказал, что мы обманули его доверие, что он не знал об архитектурной и исторической ценности этого дома, как будто в прошлый раз не об этом именно и шла речь, — что и в самом деле не очень патриотично разрушать культурные ценности нации и вытравлять память о ее великих людях, наконец, он снова упомянул миф об Антее, но на этот раз в том смысле, что наша сила в родной земле, ее истории и культуре. В общем, с разрушением биополя у нас ничего не вышло, только все эти газетчики, эти ветераны и культурные деятели, вообще вся эта патриотически настроенная общественность, — все они не знали, что этим своим заступничеством за отечественную культуру они подписали профессору смертный приговор.

Все время подготовки операции мы не вылазили из лаборатории, мы с трепетом, с замиранием сердца прослушивали каждый метр записи из этого дома. Мы ничего так не боялись, как услышать что-нибудь о себе. Мы боялись вдруг услышать детали предстоящей операции в каком-нибудь новом романе этого писателя или этого дома, или, я уж не знаю, кого. Но наши страхи оказались напрасными, и это было даже обидно. Последнее, что сделал профессор, это — наказал нас молчанием. Видно, он поставил на нас крест.

Он умер от инфаркта, мгновенно, не успев даже осознать свою боль, и его смерть даже у самых предвзятых людей не вызвала и тени подозрения. У профессора было действительно слабое сердце.

И в конце концов, профессору ведь было уже за семьдесят, он прожил долгую и, я могу смело сказать, счастливую жизнь и написал много прекрасных книг, и ведь он же умер, любимый и почитаемый всеми, умер в зените славы, которой, может быть, именно мы не дали померкнуть, потому что в свои преклонные годы он вряд ли создал бы что-нибудь достойнее уже созданного им...

Но каждый день мы аккуратно прослушиваем записи из пустующей, опечатанной, навсегда засекреченной квартиры. Мы по-прежнему слышим его остроумные рассуждения и интригующие отрывки каких-то историй, но мы не знаем, как собрать, смонтировать это, и в книгах, опубликованных уже после его смерти, мы этих отрывков не встретили. Все равно: всю ночь — теперь уже всю ночь — вращаются кассеты, и мы слушаем, слушаем, слушаем, что говорит профессор.